



ЯРОСЛАВ ИВАШКЕВИЧ

Sérénité

РАССКАЗ

Перевод с польского Г. ЯЗЫКОВОЙ

I

На озере, 8 сентября

Дорогая пани Агата!
Подлинное мое приобщение к изобразительному искусству, к живописи произошло довольно поздно. В юности мне нравились картины скорее банальные, более того — некоторые из них так сильно подействовали на мое воображение, что я помню их по сей день, нет-нет да и отзовутся они в моем собственном творчестве. Помнится, в моде тогда была картина Фантен-Латура под названием «Свадебное путешествие», или «Путешествие любовное». Отъезжающая карета, в заднем окошке ее видны две склонившиеся друг к другу головки: женская и мужская, на запятках, где складывают чемоданы, маленький фавн, играющий на флейте, и все это выдержано в золотисто-красных тонах осенней листвы. Как же восхищала меня эта картина, какой была исполнена музыки, музыки, как мне казалось, в духе Форе...

Помню и другого художника — Анри Мартена. Он писал какие-то фрески в Париже. Его именем называлась даже главная аллея в районе Пасси, и только после того, как ее переименовали в авеню Мандэль, я заподозрил, что тут что-то не так. И в самом деле, оказалось, что улица была названа в честь знаменитого историка, однофамильца моего художника. И тот, и другой теперь забыты.

И вот у этого-то художника, Анри Мартена, была картина, которую он назвал «Sérénité». Оригинал я, кажется, не видел, хотя, возможно, он и хранился в Люксембургском дворце. Но я хорошо помню открытки с репродукциями, которые так меня тогда восхищали.

«Sérénité» прежде всего изумляла цветом, яркостью зелени. И в пронзительно-ярком зеленом лесу медленно возносились в небо человеческие фигуры. Все они летели слева направо, медленно поднимаясь вверх. Одни были совсем нагими, другие — в свободных, прозрачных, каких-то облачных одеждах, некоторые из них держали в руках лиры. И все они плавно устремлялись ввысь — с зеленой земли к ясному небу.

Очень трудно мне, пани Агата, перевести это слово — sérénité. Оно означает ясность, просветленность в природе и в душе, тишину,

успокоение — да, пожалуй, слово успокоение подходит сюда больше всего, хотя, впрочем, в «Sérénité» нет никакого оттенка недавнего смятения и, может быть, именно поэтому оно не совсем соответствует тому, о чем я хотел бы Вам сейчас рассказать.

С тех пор, как я поселился здесь, у озера, я все время думаю об этой картине, хотя достоинства ее сомнительны, это я отлично понимаю. Меня со всех сторон окружают старые деревья, платаны, кедры, ясени, и мне все кажется, что среди этих скульптурных стволов парят белые и лиловые тени. Я вижу их красивые головы, благородные очертания кифар.

Здесь я уже несколько дней. Как я писал Вам, я приехал сюда по приглашению Марре Шуара, который в свои девяносто лет сохранил полную ясность ума. Я собираюсь погостить у него и здесь же дожждаться своего восьмидесятилетия — для него это, может быть, и не так уж много, а мне и того довольно.

У меня нет больше никаких дел и, разумеется, нет никаких замыслов и планов. Мне ничего уже не нужно, разве что подвести итоги, кое-что сопоставить, преувеличив что-то, а может и преуменьшив. И вот, погрузившись в этот блаженный покой, глядя на двухсотлетние деревья, на светлую голубизну озера, на парусники, скользящие по водной глади, словно легкокрылые поденки, я и решил написать Вам. Но не то привычное письмо, простой знак вежливости, каких, увы, за последнее время Вы получили от меня множество, а письмо настоящее, пусть бы оно было напоминанием обо всем том, что мучило и объединяло нас когда-то, а потом незримо и невидимо оставалось между нами.

Не бойтесь, я не буду сентиментален. Этой слабости за мной никогда не водилось. Да и речь пойдет, в первую очередь, о поступках, а не о чувствах.

Я не боюсь показаться и чересчур откровенным. Это мне, кажется, не грозит, просто я хотел бы еще раз взглянуть на прошлое, на пути наши, которые когда-то были совсем близко, а потом разошлись. Но все-таки они вели нас к тому, к чему всегда хотелось бы прийти перед окончательной разлукой. Они вели нас к примирению, к полному согласию с миром, к sérénité.

Мне часто не дает покоя одна мысль, сама по себе она очень банальна, но тем не менее может докучать человеку в долгую бессонную ночь, мысль о том, что какие-то случайные минуты в человеческой жизни могут оказаться роковыми. Подумать только, от какого-то пустяка — от того, в какую сторону мы свернем, гуляя по саду, в какое сядем кресло, какой решимся набрать номер, сняв телефонную трубку, порой зависит все. От одного слова, едва заметного жеста зависит вся наша жизнь. И кто знает, куда бы она нас увела, если бы этого жеста или слова вообще не было.

Представим себе на минутку, пани Агата, что тогда в парке, а вернее, в ущелье, по склону которого я с таким трудом вскарабкался, я не упал бы в обморок. Представим, что этого бы не было. Ведь никогда, ни до, ни после того, я не падал в обморок. Это случилось со мной один-единственный раз. И теперь мне даже кажется, что я, если можно так сказать, упал в обморок с умыслом, именно для того, чтобы решающей минуты не наступило и мне не пришлось сказать Вам ни слова из того, что было мною давно обдуманно и что перевернуло бы всю нашу жизнь.

Если бы я тогда не упал в обморок, я сказал бы Вам все, сказал бы, как сильно любил Вас; разумеется, мне только казалось тогда, что я люблю: ведь я был тогда сущий младенец — несмелый, нелов-

кий, грустный. Эта грусть жива в моей душе и по сей день, жива и в эту минуту, когда я пишу Вам письмо.

Все могло бы сложиться по-иному.

Ведь Вы, наверное, помните, что это было в самом начале войны, в сентябре 1914 года, и сразу же после нашей встречи мне пришлось уехать. С той поры письма должны были заменить все и так ничего не заменили.

Та первая зима была еще относительно спокойной, хотя и очень тяжелой, как все военные зимы. В военных школах ввели ускоренный курс обучения, и уже через несколько месяцев меня отправили на фронт, причем сразу же в роли командира. Я еще не понимал тогда, какое бремя на меня легло, пока рядом вдруг не стали падать люди. Не знаю, способны ли Вы представить, как это бывает, когда на твоих глазах падают вдруг твои друзья, офицеры и солдаты, находящиеся под твоим началом, то есть когда их убивают. Столько лет прошло, столько было страшных, самых неожиданных испытаний, столько товарищей, столько солдат погибло на моих глазах, что, по правде говоря, деталей я уже не помню. А в их числе были и убитые мною люди, и подожженные деревни. Но сегодня все это для меня словно густой лес, и я иду по нему, ударяясь о деревья, разбивая в кровь руки и ноги, иду навстречу шальным пулям, скитаюсь по еврейским местечкам, по госпиталям, по осенним, размытым дорогам.

Наверно, и тогда бывали летние дни, теплые дожди, зеленели деревья, но мне запомнилась только осенняя размытая дорога и мои стертые в кровь ноги, которые шагают по этой дороге без усталости: раз, два, раз, два.

И знаете, почему эти годы оказались для меня такими важными? Вовсе не потому, что была война, об этом я даже и не помнил, а потому, что я убедился, что изнанка всех человеческих поступков — жестокость, жестокость по отношению к людям, к мужчинам, женщинам, животным. Помните, как это описано у Достоевского, все эти сны; исповедь Ставрогина — это еще пустяк, для меня куда страшнее сон Раскольников, помните, ему снится, как убивают лошадь, которая не может тащить телегу с людьми. С каким наслаждением люди убивают лошадь, и ведь все это мерещилось Раскольникову, стало быть, Достоевский думал обо всем этом, и в памяти его осталось убийство лошади.

Сколько таких искалеченных лошадей довелось мне увидеть! Самое страшное, что было на войне, — это раненые лошади, которых некому было добить. Люди тоже мучились безо всякой вины. Но безвинность страданий была особенно заметна, когда мучили животных.

Тогда-то все и началось. А кончилось ли? Нет, не кончилось. Вот и сейчас, у озера, в этом роскошном парке под сенью огромного, напоминающего рифленую колонну дерева, стоит только мне закрыть глаза, и я вижу вереницу убитых людей, замученных животных, разрушенных и обвалившихся домов, и этот ряд бесконечен, он движется точно так же, как я шагал тогда по осенней дороге, в дождливой мгле: раз, два, раз, два.

Сломанные предметы так же обездолены, как раненые животные. Конечно, разрушенные дома ничего не чувствуют, но все разрушенные дома, которые мы с Вами видели, выглядели так, словно бы они испытывали страдания не только физические, но и душевные. Казалось, они в полном отчаянии.

И, собственно говоря, вся наша жизнь была жизнью таких вот обездоленных, лишившихся надежды домов. И мы покидали их, расставались с ними. Мне часто снится все тот же сон: мы с Вами снова

в старом доме, где прошло наше последнее лето, в том доме, где мы вместе читали Ахматову и Иллакович и где — подумать только! — вдруг увидели, что Конопницкая совсем не плохая поэтесса, что она очень музыкальна, выразительна... И вот мне часто снится тот старый дом, только всегда в полумраке, таким, каким он был во время солнечного затмения — помните это затмение? Мне снится этот полутемный дом, и я брожу по комнатам, со мною Ваш отец, мы ищем Вас, но нигде не можем найти. И кассир, который выплатил тогда мне деньги в золотых рублях, тоже тут, и мы все вместе бродим в сумерках по дому, по его огромным комнатам и не можем Вас отыскать. Дом нужно покинуть, и я уже не знаю почему: каждый раз мне снится это по-разному, то ли вот-вот должен начаться бой, то ли сейчас сюда нагрянут гайдамаки, а может, просто нужно срочно убираться отсюда без всякой причины — кто знает, но только дом, с которым мы вот-вот должны расстаться, значит для нас так много. В конце концов это даже и не мой дом, моя судьба с ним не связана, но во сне мне кажется, что непременно нужно сохранить все то, что меня с этим домом соединяет.

Во двор въезжают лошади, телеги, подводы, и мы собираемся в дорогу, вещей ужасно много, Вас все нет, Ваш отец спрашивает: «Где Агата?» А кассир, поглядывая из-за пенсне в золотой оправе, говорит с ехидной усмешкой: «Она прощается с домом». Говорит «прощается с домом», но на самом деле слова его и ехидная усмешка означают что-то совсем иное. Сон этот повторяется много раз, и во сне у меня сначала есть дом, потом я прощаюсь с домом, теряю дом. Дом сам по себе начинает играть ту роль, какой у него никогда не было. Вы ведь знаете, у меня никогда не было дома.

Теперь мне кажется, что, как только я выбрался из ущелья, где со мной тогда случился обморок, тотчас же началась война, стрельба, фронт. И сразу убили моего денщика, так бессмысленно и нелепо. Он как раз собирался в отпуск, стало быть, зима давно прошла, раз ему уже дали отпуск. Но в памяти моей все это сохлось, превратилось в маленький комочек, который нужно опустить в горячую воду, чтобы он превратился в самые различные картинки, как это было с японской игрушкой, о которой писал Пруст, которая и мне доставила в детстве немало радости и которой уже давно не существует, как и стольких других вещей.

Вещи не только умирают, они исчезают. Теперь, например, совсем исчезли яблоки. Помните, сколько было когда-то разных яблок, сколько сортов — и у каждого свой вкус, свой аромат. А теперь ученые стараются свести их к нескольким, а вернее, к двум сортам. Как раз здесь, на берегу, я читаю статью — воспоминание о том, какие чудесные яблоки были прежде, о том, как старые яблони вырывали из земли: они должны были уступить место жалким кустикам, щедро дарящим «гольдену», которых никто не хочет есть, в которых содержится ничтожное количество витаминов, но которых сейчас такое множество, что их тоннами вывозят на поля, целые гектары земли покрыты слоем гниющих яблок. Как странно все устроено в этом мире...

А потом начались тюрьмы.

Впрочем, нет, конечно, это мне сейчас так кажется, ведь была и молодость, я писал стихи, пользовался успехом. Это было уже после Вашего замужества. Перед этим мы долго не виделись. От кого-то из общих знакомых я узнал, что Вы вышли замуж, и написал Вам письмо. Тогда у нас в Польше светские развлечения были примерно в том же роде, как это описано у Жеромского в его «Пепле». Заметьте, что описание балов у Жеромского и у Налковской очень сходно.

И я был точно таким же старосветским, сделал предложение, был помолвлен, обвенчался. Впрочем, брак мой, так же как и Ваш, это уж совсем иная материя, об этом и разговор должен быть особый.

Но в памяти моей от той поры остались прежде всего мои тюрьмы. Их было немного, но все они запомнились. Вообще заключение — дело тонкое, для того чтобы лишить человека свободы, существует множество узаконенных способов. Но какую они преследуют цель? Я всегда невольно задумывался над тем, какую цель преследует человек, запирая на ключ другого человека, одного или вместе с другими людьми. Хочет ли он направить его на путь добродетели, или же дать ему возможность поразмыслить, или же просто изолировать его от других людей? И то, и другое, и третье. Но если б Вы только знали, что такое эти тюрьмы. Порой мне казалось, что они созданы в угоду тем, кто там служит, чтобы доставить радость садистам, чтобы избавить некоторых людей от тяжкого груза комплексов, чтобы придать тюремному механизму то значение, которое потом определит и всю систему: «Дания — тюрьма».

И, может быть, именно потому мои воспоминания о тюрьме живы во мне, потому они поднялись как на дрожжах, вытесняя остальное, что все случившееся тогда со мной и казавшееся таким редким, таким диковинным, выступило потом на первый план не только в моей жизни, но и в жизни многих других людей. Все это превратилось потом в лагеря, во всевозможные тюрьмы, где мучили и пытали людей, в те оковы, которые человек надевает на человека, которые и на меня надевали и которые год от года становились все страшнее.

Вы ведь знаете, что я женился, у меня были дети, трое сыновей, они появились на свет с разницей в три года, а умерли все трое в один год. Я много работал, бывал за границей. Вы помните нашу встречу в Париже?

Что там тюрьмы! Я помню ту ночь — кабачки, «балы», на которых мы с Вами побывали, а потом, под утро, обратный путь мимо решеток Люксембургского сада. Сад был еще закрыт, но все равно это был июньский рассвет, пахло росой, пели какие-то птицы. Мы мало разговаривали, совсем не вспоминали о прошлом, и только один раз Вы обронили такую фразу:

«В саду пахнет росой, совсем как у нас на Украине».

Теперь мне кажется, что это мгновение было таким счастливым! Пути наши снова сблизились, но тогда я не обратил внимания на эти слова. Как порой мы будто бы не слышим боя часов, а потом вдруг в памяти зазвучат их удары и мы даже мысленно ведем им счет, так и я не заметил Ваших слов, и лишь потом, да и то не сразу, а много лет спустя, на родине, дома или даже в тюремной камере, слышал Ваш голос:

«В саду пахнет росой, совсем как у нас на Украине».

Запах росы был тем, что нас как-то объединяло, но, согласитесь, дорогая, ведь это такая малость, что даже неловко об этом говорить. Рушатся империи, создаются новые государства, люди бессмысленно убивают друг друга, жестокость торжествует, а мне вдруг неожиданно вспоминаются Ваши слова о запахе росы.

Все это так несоизмеримо со всем, что пришлось мне испытать, с моей памятью, со всем моим существованием вообще. В жизни каждого человека встречаются такие несообразности. Люди ступили на Луну (точно в такое же июньское, пахнущее росой утро), а в моих ушах все звучат Ваши слова, сказанные давным-давно тем памятным, чуть приглушенным, матовым голосом, который остался со мной на всю жизнь, слова о том, что в саду пахнет росой, совсем как у нас на Украине.

И теперь, когда отсюда, из этого роскошного парка, я гляжу в прошлое, все в моей памяти сливается в цельные картины, ничего в отдельности я уже не вижу, и даже то утро в Люксембургском саду отодвинулось еще дальше, в еще более давние времена. Я словно бы и не помню, что видел Вас еще когда-то, мне все кажется, что мы встречались только там, в весеннем саду, и поэтому Вы навсегда остались символом моей юности.

А ведь время от времени мы все же видели друг друга. Вначале часто, а потом изредка, иногда. Как-то раз я встретил Вас в театре вместе с мужем. Вы были тогда такой красивой, и мне показалось, что Вы счастливы. Правда ли это? Было ли в жизни Вашей хотя бы одно мгновение, когда Вы взглянули на прошлое с мимолетной улыбкой, а на кольца на руках Ваших — как на безделицы?

В моей жизни была такая минута: в тюрьме. Я уже ничего не ждал, ничего не хотел, считал, что все в моей жизни свершилось. И тогда, глядя на голые стены камеры, я подумал: боже, как же я счастлив!

Это длилось всего лишь секунду. И тут же ко мне вернулось прежнее ощущение, словно бы я лежу в неудобной постели. Я снова почувствовал, что я несчастлив, что я никогда не был счастлив, что я не буду счастливым. Да и само по себе такое понятие, как счастье, это нечто столь примитивное, столь недостойное человека, что говорить о счастье — верх наивности. А тем более писать! Прошу прощения и ретируюсь.

И потом я снова встретил Вас — на похоронах Вашей маленькой дочки. Я видел, что Вы сломлены и ни муж, ни брат, которые были тут же, рядом с Вами, не могут быть для Вас поддержкой. Вы посмотрели на меня. И я почувствовал, что, может быть, я бы мог Вам помочь, но это ощущение было таким же мимолетным, как ощущение счастья в тюремной камере. Вы глянули на меня откуда-то издалека, словно бы не замечая. Вам тяжело было нас всех видеть.

Существует ли какое-нибудь средство от несчастий? Можно ли не замечать их, не принимать во внимание? Марре Шуар говорит, что одна из тайн науки — это готовность ко всему. Может быть, это и одна из премудростей жизни? И нужно принимать жизнь такой, как она есть? Зависит ли хоть что-то от выбранной нами позиции? Правомерна ли вообще такая постановка вопроса?

Мне кажется, что красавец Диего, фактотум моего профессора, не задумывается над этими проблемами, но наверняка реализует один из принципов Шуара — он не отвергает жизненных даров. Вы помните, конечно, такой тип людей еще со дней нашей юности. Диего напоминает тех прежних своей откровенной чувственностью. Он почти всегда ходит в ярко-алой, цвета мака, рубашке. Наши друзья были не столь вульгарны. Впрочем, вернее, не друзья, а друг...

Вы помните, конечно, что сразу же после моего обморока, когда я, очнувшись, лежал на свежей траве, мы почему-то невольно заговорили о нем. Наш Диего не носил рубашки ярко-красного цвета, тогда было не принято показываться в обществе без пиджака. На нем всегда был серый пиджак. Но вот сандалии он носил на босу ногу, чем доставлял всем своим теткам немало огорчений. Впрочем, все это было еще до войны. Война приучила женщин к тому, что мужская нагота выставлена на всеобщее обозрение. Все эти босые ноги, икры, обнаженная грудь, закатанные рукава. Чем было для Вас все это?

Дорогая! В эти утренние часы — сейчас одиннадцать — здесь так хорошо, еще не жарко, да и днем теперь уже нет жары. Озеро передо мной голубое-голубое. Повторить определение дважды значит сделать его более действенным, цвет озера более синим. Последние ро-

зы и далии сливаются, кажутся издали розовой пеной, и стволы кедров за моей спиной словно колонны в кафедральном соборе. У Вас там так же хорошо, как здесь сейчас?

II

Дорогая Агата!

Сегодня Диего пришлось натянуть свою красную рубашку (до этого он разгуливал почти нагишом) и отвезти меня в город, в больницу, на обследование. Вчера вдруг что-то со мной случилось: обручем сдавило голову, все словно бы ушло куда-то, все, кроме смутной тревоги. Мой профессор перепугался, ночью раза четыре он присылал ко мне в спальню Диего, а потом позвонил своему другу директору клиники и с утра (натощак) я отправился к нему в больницу. Там у меня взяли кровь, сделали кардиограмму, провели еще какие-то обследования, по новейшему методу, суть их я не уловил, потому что сразу же после укола на мгновение потерял сознание.

И я с огромным интересом, словно бы впервые, наблюдал за тем, как берут у меня кровь. Процедура эта всегда кажется каким-то чудом, вызывает огромное любопытство: мне всегда хочется знать, о чем говорят крохотные частицы моей крови, размазанные на стеклышке, разгадать их язык. Пальцы сестры двигаются проворно — и красные следы на стекле и в самом деле совсем ничтожны.

Но информация их очень важна: они говорят о том, например, какой процент ацетона у меня в крови, и о том, сколько там холестерина, о вещах, определяющих мое здоровье и в конечном счете даже определяющих возраст — степень моей старости или молодости. Сестра, хрупкая блондинка, брала кровь очень умело, и мне казалось, что собственное мастерство доставляло ей такое же наслаждение, какое бывает у исполнителя трудной баллады Шопена или этюда Листа, радость совершенства.

И конечно же, все это время я думал о Вас. После того, как я решился Вам написать, я думал о Вас непрестанно, а тут еще и эта больница. Больница стоит наверху, а входить в лабораторию нужно сбоку, как в Вашей больнице. Ведь я был там однажды, но не дождался Вас, потому что спешил. Впрочем, я мог бы и подождать, времени у меня хватало, но немножко боялся этой встречи. О чем бы мы стали разговаривать?

Недавно мне приснился сон, что я опять в Закопаном, стою у дороги, опершись о плетень, и гляжу на свадебный поезд. Да, да, на самый обыкновенный и такой волшебный свадебный поезд, какой так часто можно увидеть у гуралей, но только вместо полозьев у саней были колеса, и меня это удивило. В одной из повозок я увидел Вас — молодую, красивую, оживленную, — а я все повторял свой вопрос: зачем же колесами по снегу — лошадям тяжело! — хотя и знал, что спрашиваю напрасно, Вы все равно не услышите. И все вы в своих повозках, весь свадебный поезд, такой праздничный и веселый, как это всегда бывает на свадьбе у гуралей, промчался мимо, оставив меня без ответа. И тогда я подумал: она мне никогда не отвечает. Никогда ни о чем не рассказывает.

Ведь Вы никогда бы не рассказали мне всей своей жизни. Я о многом знал, да и сейчас знаю, но, разумеется, не все. Я долго думал об этом здесь, в больнице, и бедняге Диего, должно быть, надоело меня ждать.

Оказавшись в больнице, я почувствовал вдруг такое успокоение, такую легкость! Наверно, по двум причинам. Одна из них та, что я

уже стар и больница кажется мне пристанью. Такая больница это почти что кладбище, подумал я. И мне стало так хорошо, так «уютно», словно бы я укладывался спать и вдруг на меня снизошло то великое успокоение, о котором я мечтал. А еще мне было там хорошо, потому что я все время как бы видел перед глазами Вас. Ведь Вы, можно сказать, всю свою жизнь провели в такой вот обстановке, в таком окружении. Я сидел в больничном холле — он здесь очень просторный и полупустой — и представлял себе Вас в такой вот больнице. Мне казалось даже, что я Вас вижу, узнаю Вашу летящую, чуть неровную походку. Несколько лет замужества, похороны и все прочее — не в счет. В жизни Вашей остается только эта больница.

И теперь, когда наша жизнь подходит к концу, когда все уже в прошлом и превратилось в широкую полосу тени, где все очертания, все краски стерлись, как мне хотелось бы узнать, чем было для Вас то, что дала Вам больница. Принесла ли она Вам умиротворение? Была ли она тем, чего Вы ждали от жизни?

Разумеется, я не говорю здесь об ожиданиях юности. Обо всем, что было предметом Ваших надежд и разочарований в то памятное лето, когда мы, не любовники, а просто друзья, так много об этом говорили.

Я помню, как Ваш отец уверял, что дружба между мужчиной и женщиной невозможна. Это говорилось в том смысле, что всякая дружба между мужчиной и женщиной всегда окрашена эротикой. Но наша дружба была такой пленительной, такой сладостной, а о большем мы не думали. Вы любили человека, который был недостоин Вашей любви. Случилось так, что я знал о нем больше, чем мог сказать, прекрасно понимал, что Вас ждет, и заранее словно бы хотел смягчить Вашу горечь и боль... Иногда мне так хотелось прижать Вас к груди и сказать: Агата, все это ничего, ничего не стоит, все это так быстро пройдет, превратится во что-то совсем иное, что не будет иметь ни запаха, ни очертаний плода, это что-то будет как засохший осенний лист. Но сухие осенние листья тоже прекрасны, и кажется, что у каждого из них — своя тайна. И наши дни тоже будут такими, словно бы у каждого из них своя тайна. Но, впрочем, это заблуждение. Ведь тайной нашего сегодняшнего дня могут быть только воспоминания — и каждый день непременно какое-то новое.

Иногда это воспоминание о наших разговорах в то далекое лето, когда мы были так дружны и так много говорили о любви, о молодости, о верности и о теле. Разговоры о теле были робкими, ведь тогда секс еще не вошел в моду.

А сейчас у меня перед глазами словно бы прошла вся Ваша жизнь. Случалось ли Вам думать в больнице о прошлом? Или Вы думали только о том, что нужно и важно сейчас? О том, чтобы пани Вольской вовремя дали лекарство, пану Курноскому сделали укол, может быть, он еще и поправится?

Нравилось ли Вам, как той сестричке, брать кровь? Она сегодня так ловко воткнула иглу в вену, отчетливо проступающую на сгибе моей, теперь уже стариковской руки. Руки, которая уже утратила свои прежние очертания, а ведь она наверняка была красивой, когда держала весло, в то лето, когда мы с Вами катались на лодке, когда мы вместе глядели на облака и звезды, когда мы так много говорили о Витеке, о котором Вы еще не знали ничего, а я знал так много.

Я никогда не рассказывал Вам, что в том же самом году, сразу после нашей встречи, я был у Кароля в деревне. Всего лишь несколько дней, был июль, погода стояла чудесная, на редкость тихая, словно бы это было и не в июле — июль ведь не назовешь месяцем тишины, — а в конце августа или начале сентября.

Вы помните, как умел Кароль слушать? Но на этот раз Кароль слушал меня недолго. Он вскоре стал сам рассказывать. Говорил о Витеке, который вовлек его в какую-то темную историю (какую именно, об этом он умолчал), но она-то и погубила Кароля окончательно. Если Витек и вызывал у меня досаду, то только потому, что он был обеспеченным молодым человеком и всегда, когда я у него бывал, он выдвигал ящики, вынимая из них всевозможные галстуки — помнится, были там и галстуки бабочкой. Ему так хотелось произвести на меня впечатление и своими туалетами, и телом. Но Вы ведь знаете, что такой успех недолговечен, и тогда он нашел себе другие занятия.

Кароль тогда долго рассказывал мне обо всем этом, но я не знал, верить ли ему. После жарких летних дней ночью разразилась гроза, загорались молнии, освещая зеленые тучи, которые тотчас же снова погружались во тьму. За окном все пришло в движение, словно бы набежали волны. Вы помните, конечно, как это бывает ночью, в деревне? А я думал все об одном: как мне разговаривать с Вами? Что именно о нем Вы уже знаете, о чем уже догадываетесь, могу ли я быть с Вами откровенен и в какой мере? Но так ничего и не надумал.

А Витек был рядом, в соседней комнате. И вдруг, неожиданно, вышел к нам и сказал: «Что вы тут шумите, спать мне не даете». А ведь это гроза не давала ему уснуть. Он был в шелковой полосатой пижаме. Увидел на буфете начатый арбуз и стал есть его ложкой, так, словно бы до этого никогда ничего не ел. И гроза понемногу утихла, отдалялась. Молнии освещали полосу еще не скошенного овса, желтизна которого казалась особенно яркой на фоне темных фиалковых туч, освещенных отблесками далеких молний. И вдруг в саду под березами я увидел кусочек совершенно зеленого небосклона, с огромной звездой посередине. А я все не переставал думать о Вас, пани Агата.

Кароль наклонился над сидящим Витеком и поцеловал его в спину, между лопаток, которые выступали под пижамой, и все это было так буднично, так обыкновенно. И поэтому вызывало восхищение. И пахло арбузом. Я и сегодня помню этот запах. Свежий, чуть пронзительный запах арбуза. Моя жена не выносила этого запаха. А я его обожаю.

Может быть, оттого, что он напоминает мне ту ночь в деревне, когда мы говорили о Витеке и я узнал о нем такие вещи, которых не должен был бы знать, и когда я с таким самозабвением думал о Вас и о Ваших отношениях с этим человеком. Мне хотелось крикнуть: «Одумайся, Агата, он тебя не стоит». Но на что бы это было похоже?

На рассвете я вернулся к себе в комнату. Комната была наверху, в окна заглядывали ветки высоких кленов, и конечно же на клене кричала иволга. Я не мог уснуть, иволга все посвистывала, а я говорил себе: совсем как у Ахматовой. И мне так вдруг захотелось познакомиться, а может быть, даже и поговорить с ней.

Обо всем этом вспоминал я, сидя в больничном холле, и чувствовал такую слабость! Здесь, в этой больнице. Отчего вдруг такая слабость и головокружение? Мне снова показалось, что едет свадебный поезд. Играет музыка. И Вы тоже едете, а я стою и гляжу. Может быть, сестра взяла у меня слишком много крови? Ведь так, наверно, бывает? Вы, должно быть, знаете?

И еще какое-то странное чувство — будто вместо моей собственной жизни перед глазами моими, словно свадебный поезд, вереницей прошли чужие жизни — Ваша, Кароля, Витека, людей, которых я знал, зная Вас. И сон, который я видел, был не моим сном, а Вашим. И даже не сном, а каким-то легким сновидением.

Я был словно бы в тумане и не ощущал так остро, как прежде,

своего собственного «я». Стены больничного холла расступились, сливаясь воедино с очертаниями деревьев, с их высокими колоннами. Это были кедры и платаны. Я не терял представления, что я там же, где был прежде. Мне вовсе не казалось, что я перенесся к Вам.

На мгновение меня вдруг одолела сонливость, то блаженное состояние, которое знает только старость, когда все тело наше словно бы окутано невидимой, незаметной, существующей только в нашем воображении ватой и нам кажется, что плоть наша словно бы тает в этом тепле и превращается в ничто. Эта сонливость, наверно, предчувствие смерти, а вата, в которую мы укутаны,— наша душа. Она уже почти рассталась с нашим телом и теперь укрывает свою прежнюю колыбель чем-то очень мягким и нежным. Я люблю эти мгновения полузабытья, а потом и забытья, полного забвения, такого нежного и усыпляющего.

Кто-то положил руку мне на плечо. Я открыл глаза, передо мной стоял Диего, но я не мог понять, кто это, и не понимал, где я. Диего показался мне ангелом в броне. Я чувствовал, как под напором его плоти вот-вот лопнет красная рубашка, и не знал, чего этому ангелу от меня нужно. Я видел, что он будит меня, но только где я? Больничный холл показался мне роскошным вестибюлем мраморного дворца. Красота Диего ослепила меня. Я закрыл глаза и снова едва не уснул.

— Чего ты хочешь? — спросил я.

И на какое-то мгновение мне показалось, что это паяц, наподобие тех, что в карнавальном четверг скачут на площадях и улицах Бенша. Знаешь, есть во Фландрии такой городишко, где в день карнавала все скачут на улицах, как кузнечики, и на всех очень приличные, старательно сшитые шутовские наряды. Если бы Вы знали, как утомительно на это глядеть! Зрелище это я видел всего лишь раз, но скачущая по улицам городка толпа долго стояла у меня перед глазами. Мне она казалась олицетворением всего человечества.

И вот на какое-то мгновение Диего тоже показался мне таким вот шутом из Бенша, и я даже удивился было, почему он не скачет.

Но он, склонившись надо мной, сказал:

— Пан Август, пора возвращаться к профессору.

И тут весь мир снова повернулся вместе со мной на сто восемьдесят градусов, я снова оказался в холле больницы, передо мной стоял секретарь великого Марре Шуара и предлагал вернуться к действительности.

Но мне не хотелось возвращаться к действительности. Я предпочитал остаться там, в той грозовой ночи, где молнии освещали тополиные ветки, светлые снизу и казавшиеся еще более светлыми на фоне фиалковых туч, пронесившихся где-то в вышине над домом и садом. И я чувствовал, что должен сделать все возможное и невозможное для того, чтобы Вы не вышли замуж за Витека.

И знаете, отчего Диего казался мне похожим на клоуна? Потому что все в памяти смешалось: карнавал в Бенше и костюмированный бал, где все вы в костюмах а-ля Ватто танцевали гавоты и менуэты. Вы, конечно, помните этот бал? Как хорошо я его помню и помню свою боль и печаль, почему я не с Вами...

Я думаю, что эта боль осталась со мной надолго, а может быть и на всю жизнь. Боль — оттого, что «я не с вами»: ведь и Вы, и Витек, и Ваш муж, и Кароль — все ушли куда-то, а я остался один. Мне казалось, что течение уносит от меня плот, нечто вроде ладьи, украшенной флагами радости, которая никогда не была и не могла быть моей. Я видел, как вы отдалялись и уже не глядели на меня, и если бы я делал вам какие-то знаки, вы все равно бы их не заметили. Но

я не делал никаких знаков, я заранее отказался от всего, я уже знал, что скроен из другого материала — таких, как я, отправляют в солдаты таскать пушки, а потом — в тюрьму. Это вовсе не означает, что даже в самые тяжкие часы, в окопах или казематах, я не видел перед собой реки и плывущего по ней островка — ладьи, украшенной разноцветными лентами, а в ней актеров, исполняющих комедию дель арте, и Вас в роли Колумбины с этими огромными помпонами, которые преследовали меня по ночам. Гавот был необыкновенно изящен. Я помню, Вы танцевали его с Витеком — оба такие молодые, смеющиеся, счастливые, что сразу было ясно, дальше это продолжаться не может, но все же хорошо, что была такая минута.

Я вижу, как Вы начинаете свое первое па — с левой ноги, поднимаете ее не очень высоко, но, пожалуй, все же высоковато для такого танца, как гавот, вижу Ваше счастливое, смеющееся лицо. И Ваши глаза. Светлые, прозрачные, ликующие глаза. Такие молодые глаза.

В старости почти невозможно себе представить, что другие тоже состарились. Мне кажется, что старость не коснулась ни Вас, ни Витека. Впрочем, Витек и в самом деле остался молодым — Витек умер. Но и Ваши глаза, наверно, давно утратили свой молодой веселый блеск. Тогда, на кладбище, они вовсе не казались мне лучистыми, они потускнели. И за гробом Вы шли не прежней своей летящей походкой, а шли так, как обычно люди идут за гробом, с трудом передвигая ноги.

Обратно мы с Диего переправлялись через озеро в лодке. Обследование прошло успешно. Частицы крови моей дали полный отчет обо всем, что со мной происходит. Они раскрыли прекрасной блондинке все тайны моего тела, моего естества, моего стареющего «я». И оказалось, что никаких поводов для волнений нет.

Но отчего же вдруг мне так сдавило голову? И откуда вдруг эта сонливость?

Впрочем, прежней сонливости я уже не ощущал. Озеро было спокойно, Диего мерно взмахивал веслами, и сонливость моя постепенно перешла в покой. Я вдруг почувствовал себя отдохнувшим, даже словно бы помолодел. И снова думал о Вас.

После всех тех бурных событий, после всех великих печалей, после всех тех трагедий, участницей и зрителем которых Вы оказались во время войны, бывает ли у Вас хоть когда-нибудь такое же ощущение полного покоя, какое испытывал я, пока мы плыли в лодке по озеру?

Диего неторопливо и спокойно взмахивал веслами, но я не знаю, был ли он и в самом деле спокоен. Время от времени он смотрел на меня как провинившийся пес. Может быть, он чувствовал себя виноватым? Вины у него передо мной не было. Я не принадлежу к тем старым людям, для кого чья-то молодость и красота — тяжкий грех. А может быть, он просто-напросто был встревожен? И это я там, в больнице, своим странным поведением, своим нежеланием возвращаться к обычной жизни напугал его? Мне захотелось ему что-то сказать, но о чем с ним говорить, я не знал. Я начал было рассказывать ему о Вас, но прервал на полуслове и умолк. Нет, нельзя. Это было бы чем-то вроде святотатства. Мое молчание обеспокоило его еще больше, но я делал вид, что ничего не замечаю.

Всю дорогу я молчал. Я глядел на Диего — моего перевозчика в страну вечности, на берега озера — зеленые врата жизни, на белые облака вдали, и мне было покойно как никогда. Бывают ли у Вас мгновения такой вот отрешенности и покоя?

III

Через несколько дней

Дорогая!

Плохо мне, грустно и тяжело. Я места себе не нахожу. На душе у меня так же беспокойно, как у ласточки или аиста перед отлетом. Помню, когда-то в деревне к нам на двор залетели четырнадцать аистов. Они садились на крыши, на деревья, выбирая себе места, сталкивали друг друга. Наконец они уселись, задрали клювы вверх и громко заклекотали. На рассвете аисты улетели, и когда я проснулся — их уже не было. Это была проба сил перед отлетом.

Вот бы и мне поклекотать немножко, а может, не немножко, а вволю. Мне кажется, что клекотом я мог бы выразить все — и тоску свою, и тревогу, и страх. Мне сразу стало бы легче. А так я, неизвестно почему, весь день бесцельно слоняюсь по дому и по парку.

Ощущение пустоты в голове прошло, но по-прежнему я чувствую страшную тяжесть. словно железным обручем давит виски. Недобрый знак. Пора возвращаться, но куда? Разве что к Вам?

Не пугайтесь. Я не нарушу Вашего покоя и тишины, добытой огромными усилиями многих лет жизни. Жизни Вашей и моей. Ведь и мне когда-то нужны были кое-какие усилия, хотя бы для того, чтобы в «свободную минуту» не послать Вам такого письма. А теперь уже можно: я знаю, теперь ничто не нарушит завоеванной Вами тишины.

Сегодня идет дождь, я сижу дома. Раньше я любил выходить из дому именно в дождь. Ездил верхом. Как только начинался дождь, я отправлялся верхом на почту. А теперь торчу в доме.

Все краски слились, а верхушки деревьев утонули в тумане. Скоро осень. Мне бы сейчас поклекотать немного — и в путь.

Вчера весь день в парке было тихо и солнечно, ни малейшего ветерка. Жаль только, что я не нашел там уединения.

Я не успел сказать Вам, что парк возле виллы Марре Шуара стал чем-то вроде городского парка, рассчитывают, что он отойдет городу. Вроде бы и входить туда не разрешено, но тех, кто вошел, не выпроваживают. Тут всегда можно встретить матерей, гуляющих с детьми, и сидящих на лавочке, погруженных в свои мысли старичков. К ним принадлежу и я. Ведь все, о чем я пишу Вам, — результат моих размышлений у озера, на берегу которого сиживали когда-то и Мицкевич, и Словацкий. Вчера мне было как-то особенно не по себе: я сидел на скамейке и, глядя на голубые волны, готовился к смерти. Чуть поодаль стояла коляска с полугодовалым младенцем. Верх этой коляски, в отличие от прежних, напоминал не будку, а плоский балдахин. Сделав несколько шагов к дому, я поравнялся с коляской и увидел личико младенца. Он — кажется, это был мальчик — открыл один, совершенно черный глаз. Этот черный глаз уставился на меня. И столько злорадства, столько ехидного торжества, столько высокомерия и презрения было в его взгляде! «Эх ты, жалкий старик, — говорил мне черный глаз, — твое время прошло, скоро ты уйдешь в землю, ничего не поделаешь, жить тебе осталось год, от силы два или три. Я буду подниматься вверх по лестнице жизни, буду молодым, красивым, меня будут любить женщины, я буду счастлив, когда ты обратишься в прах». Я отошел на несколько шагов, остановился. Поглядел на младенца. Глаз закрылся. «Ах, дитя, дитя, — сказал я, — ты рассуждаешь несколько старомодно. Что из того, что ты будешь мо-

лодым? Поймешь, что это значит. А потом состаришься и тоже обратишься в прах и черный глаз твой тоже не будет видеть красоты мира. Умрешь, умрешь!» — повторял я. А младенец проснулся и закричал. Как и положено человеку.

А сегодня день дождей и бесед с Марре Шуаром. Это ученый с мировым именем, человек незаурядный, только очень уж старый.

Как все старые люди, так же как и я, хотя я и моложе его на десять лет, он много говорит о своей юности. Я не люблю этих разговоров. Юность во французском варианте — это нечто настолько отличное от нашей польской юности, что мы даже не можем сопоставить наших воспоминаний. Для него, например, война 1914 года — полный абсурд, нечто такое, чего и понять невозможно. А для меня, несмотря на всю ее бессмысленную жестокость, она была тем, что кончилось так, как оно кончилось. «Мечты ваших отцов и дедов...»

— Дурацкие обещания царя, — отвечает он, и, разумеется, прав, но за всем этим кроется и еще что-то.

Дорогая! Может быть, все это в конечном счете не так уж и важно? И все же при одном только слове «независимость» меня бросает в жар, оно звучит как голос трубы, как что-то, что нас возвышает, помогает жить вопреки всему.

Сейчас, когда я пишу Вам это письмо, я уже ничего не понимаю: человек состоит из разных пластов, и все они не смешаны. У каждого такого пласта свой цвет и вкус, как у той разноцветной пастилы, которой торговали когда-то в Киеве.

Один из таких пластов — способность радоваться вещам, которые вовсе не заслуживают этого. Но, дорогая пани Агата, в жизни так мало радостей, что иногда не грех подсунуть самому себе и такую, про которую заранее знаешь, что скоро она сама собой превратится в обман, обиду, боль.

Листва от дождя пожелтела, и окна словно бы завешаны золотистыми шторами, и в комнате вдруг появился какой-то особый интимный уют.

Профессор велел затопить камин кедровыми шишками, здесь почти в каждой комнате есть камин. Кедровые шишки дают не слишком много тепла, зато, когда они горят, в комнатах пахнет дымком чуть-чуть, только чтобы чувствовалось — тут живут люди. Во время завтрака Диего сетовал на дождь, на непогоду, а Марре в очень изящной форме доказывал нам, что истинная мудрость заключается именно в том, чтобы быть готовым ко всему, чтобы уметь все принять. Истина эта имеет не только житейский, но, как он утверждает, и научный смысл. Это своеобразная философия, которая заранее соглашается с ходом событий, принимает их такими, как они есть. Можно принять и такой ход мыслей и не противоречить ему. Во всяком случае, не отвергать его по частям. Потому что стоит нам изменить в наших рассуждениях хотя бы одно положение, мы неизбежно должны принять тогда и все вытекающие отсюда изменения. Ведь нельзя же изменить какую-либо часть целого так, чтобы не изменилось целое. Оно станет тогда совсем иным. И с этой данностью мы опять-таки должны согласиться, должны заранее ее предвидеть, относиться к ней как к чему-то новому. Например, нельзя не принять того, что сегодня день хмурый, нужно с его хмуростью примириться, и только тогда мы сможем увидеть этот день как целое. Он говорил что-то в этом роде, и это было верно, даже на удивление верно, жаль только, что я с ним не соглашался. Разумеется, в душе.

Вообще меня даже несколько тревожит, что я не могу согласиться с Шуаром. Послушай, Август, говорю я себе, ведь все это довольно

нелепо, перед тобой большой ученый, ты даже не всегда можешь поймать нить его рассуждений. Он настолько умней, образованней, настолько мудрее тебя, что ты мог бы и должен был бы принять на веру все, что он говорит. Он руководствуется истиной, а ты какими-то неясными даже самому тебе порывами, которые, если бы ты рассказал ему о них, вызвали бы у него только улыбку.

Я думаю, что и Вам эти порывы чувства могут показаться смешными. В самом деле, старинный знакомый, который от случая к случаю напоминал Вам о своем существовании, вдруг ни с того ни с сего исповедуется перед Вами в том, в чем не хотел бы признаться даже самому себе, чего боялся и что долгие годы, в сущности, было скрыто где-то очень глубоко.

Да и кто я такой? Самый заурядный человек, и теперь уже не столько человек, сколько старик. Я давно уже вышел из игры. Здесь я часами веду беседы с моим хозяином. Он сохранил ясный ум, у него по-прежнему великое множество теорий. Он смеется, утверждая, что новых теорий у него становится все больше, а старые не желают потесниться. Как обычно, он занят проблемами, связанными с математикой и философией или же с математикой и логикой. «Исходной» же своей физикой он больше не занимается, во всяком случае, никогда о ней не говорит.

«Там мне все известно», — говорит он. Что ему известно, мы все знаем, дорогая пани Агата, и знаем также, чем это нам грозит. Но он — может, потому, что ему самому скоро девяносто, — как будто бы вовсе не страдает из-за этого. Говорит, что свою миссию он выполнил, а как использует его открытие техника, это его вовсе не интересует.

Рассуждения Шуара не кажутся мне убедительными. Главным образом его занимает теперь логика, сегодня он очень долго говорил о ней. Я не понял ни слова. Хорошо еще, что шел дождь и меня совсем не тянуло в парк. Под вечер Диего подал нам кофе с молоком, и мы пили из таких красивых чашек! Это было очень кстати — слушать рассуждения Шуара стало намного легче.

Он привел такой пример: одни мужчины в деревне бреются сами, другие — с помощью парикмахера. Парикмахер не принадлежит к разряду мужчин, которые бреются сами, так как его бреет парикмахер, а это означает, что он бреется сам. Словом, нечто в этом роде. Подумать только, что в этой маленькой истории кроется серьезная философская проблема и важная проблема логики и что решить ее можно, только вооружившись очень серьезной научной теорией. Теперь я понимаю, почему с некоторых пор молодые люди решили отпускать себе бороды. Просто для того, чтобы не иметь дела с подобного рода проблемами.

Подумать только! Тут озеро, горы, деревья, вселенная, звезды над головой. И что это такое и для чего все это существует, никто не знает, все так призрачно, а наряду с этим вдруг «очень важная проблема»: можно ли сказать, что парикмахер, который себя бреет, бреется сам? Все это немножко странно.

Из таких вот странностей состоит и мир, и наука, и люди, и их поступки. Почему я никогда прежде не говорил Вам, что люблю Вас, а говорю об этом теперь, когда я Вас уже не люблю? Может быть, это тоже чуть-чуть напоминает историю с парикмахером? Как, впрочем, и все в этой жизни? Почему я вдруг оказался здесь, в этой очаровательной местности на берегу озера именно теперь, когда меня это уже не радует, а только утомляет; почему Диего возвращает меня к действительности, когда больше всего на свете мне хочется спать?

Не знаю, поверите ли Вы мне, что этот крупный ученый, этот физик, математик, логик, от научных открытий, от разума которого зависит не только уровень мировой науки, но и практика нынешнего и завтрашнего дня, сама возможность нашего существования вообще, что этот человек почти всю свою долгую жизнь крутил какие-то дурацкие романы. И женщины, в которых он влюблялся, были одна глупее другой.

От рассуждений чисто научных, иррациональных, он незаметно перешел к рассказу о своих любовных интригах и интрижках. Диего принес пухлые альбомы и стал показывать мне фотографии этих женщин...

Вы, конечно, знаете, какими мертвыми, ничего не значащими бывают порой фотографические снимки, как мало они говорят. Самый красивый человек в старомодном костюме может показаться карикатурой на самого себя, и невозможно представить, что он был и мог быть значительным. На некоторых фотографиях были и голые, но вы и представить себе не можете, до какой степени впечатление наготы создается костюмом. Она всегда подлаживается к одежде, делая тайное явным. Я не решился сказать об этом профессору, но выглядело все это достаточно мерзко.

Передо мной как бы прошла вся его жизнь, промелькнула панорама жизни одного из величайших ученых современности (раньше таких называли мудрецами). И мне было чуточку не по себе от этого зрелища. Даже не немного, а весьма.

И именно тогда я подумал, что настоящую ценность во всей его жизни имеет только одно — его математика. И те великие труды, которые он написал, и это его сомнение, следует ли принимать на веру математические аксиомы, ну, скажем, то, что наикратчайшее расстояние между двумя точками — прямая или что у прямой только два измерения. Именно эти сомнения говорят о подлинной человечности великого ума. Я попытался сравнить эту прекрасную, мудрую, исполненную трудов и поисков жизнь с жизнью Витека, Кароля, и мне вдруг стало холодно. Я ничего не мог бы никому объяснить. Не только Марре Шуар, но и Диего ничего бы не понял, хотя он и много моложе. А может, именно потому, что моложе.

Моя собственная жизнь показалась мне всего лишь нелепой сумятицей. Никогда еще я так остро не чувствовал всей ее бессмысленности. Но и Ваша жизнь показалась мне какой-то мучительной суетой, поиском с вечно меняющейся целью. Эта неустойчивость, неопределенность наших жизней особенно поражает рядом с ясной и раз навсегда определившейся жизнью Шуара с ее четким смыслом.

Да разве может быть смысл в жизни такого человека, как я — то ли писателя, то ли солдата, человека, который большую часть отпущенного ему времени провел в тюрьмах и на войне? А что за смысл в той ужасной жизни, какую прожил Витек?

И, рассматривая пухлый альбом, выслушивая длинные логические построения моего хозяина, я невольно задал себе кощунственный вопрос — а стоит ли вообще искать какой-то смысл в жизни? Не только в моей, а в жизни любого другого человека?

Я называю свой вопрос кощунством, потому что все, что пришлось нам испытать, все, о чем мы говорили, чем мы были в те годы, — все это было великим восхвалением жизни. Великой любовью к жизни. Это был крепкий настой. И именно в таком настое жизнь казалась нам исполненной смысла. И мы не задавали ненужных вопросов ни себе, ни другим — мы просто доверялись жизни.

Во время мировой войны, сразу же после революции в России,

мне пришлось проделать большой путь верхом в таком краю, где каждая встреча с человеком могла грозить смертью. Стояло лето, чудная летняя, но, увы, такая короткая ночь, нужно было торопиться. Я не спрашивал себя, зачем я это делаю, все было так удивительно и прекрасно. И я, и ночь, и мой конь, и запахи трав и леса вдали были чем-то одним, и я ни на минуту не чувствовал страха. Если бы я боялся, я бы, наверно, был осторожнее в выборе дороги, красота мира не вызывала бы у меня того восторга, который остался со мной на всю жизнь и помог пережить мне еще одну войну. Может быть, именно этим чувством можно объяснить и то, что, переступив порог тюрьмы, я ощутил себя счастливым. Тогда, в ту летнюю ночь, я не испытывал счастья. Мир во мне и вокруг меня был так полон, что для счастья просто не оставалось места.

В ту ночь, когда гроза освещала фиалковые тучи за домом, и ветер ударял в окно, раскачивая ставни, и серебристый тополь за окном казался то белым, то темным, когда Кароль поцеловал Витека в спину между лопатками, я не задумывался над смыслом жизни, не философствовал. Может быть, философия Шуара губит жизненную силу, точно так же как уничтожает жизнь учение об атомах? Подумайте только, в какое счастливое время прошла наша молодость. В те годы ученые еще не расщепили атома. Теория о строении атома оставалась только рабочей гипотезой. Совсем как в раю, когда плод с дерева познания добра и зла еще не был сорван.

А сегодня, лежа в постели, из окна профессорской виллы я увидел утреннюю звезду. Она промелькнула так быстро, будто спешила куда-то, не оглянувшись на меня — скользнула по тени гор и мягкому блеску озера, словно говоря, что глядеть ей вслед не нужно. Мне нечего ждать от нее, точно так же как нечего ждать от своего тела.

Хотел бы я знать, ощущается ли тело в минуту смерти как сплошная боль, может быть, сознание расстается с телом с таким же трудом, как отходит пластырь от раны? Как ощущает тело собственное умирание?

Звезда не хотела на меня глядеть, а я в отчаянии следил за ее полетом. Она уходила, оставляла меня одного, не дав никакого объяснения ни своему, ни моему существованию. То ли она символ, знак чего-то, что существует где-то, недоступное нам? А может быть, она существует вполне реально, как лунная поверхность, на которую в эти дни ступил человек? И почему утренняя звезда не может меня услышать, как бы я ни хотел этого? Или в самом деле остается только молитва?

И я уже не мог вздохнуть, как прежде, полной грудью, как тогда ночью, на балконе, да мне и не хотелось этого. Я даже забыл, как это бывает. Как говорит Марре Шуар: «Принимая одно изменение, мы должны принять и другое, нужно принять и целое».

Как Вы думаете, есть ли в таких вот ночных размышлениях хоть какой-то смысл? Как бы мне хотелось знать, тревожат ли Вас по ночам воспоминания. Старые люди обычно просыпаются под утро, и тогда в памяти их встают разные подробности долгой прожитой жизни. Как мне бы хотелось знать, что именно Вы вспоминаете — раннюю ли молодость, или те годы жизни, когда Вы были замужем и дочка была маленькой, или то далекое время, когда я приходил к Вам каждое утро?

А может быть, Вы вспоминаете похороны своей дочери, тот день, когда Вы шли за ее гробом и равнодушно взглянули на меня, как бы не узнавая, ничего не значащим взглядом? А может быть, я вообще никогда ничего в Вашей жизни и не значил?

IV

Несколько дней спустя

Дорогая!

После дождей наступили вдруг прозрачные, ясные, солнечные дни, когда мир кажется таким совершенным, что слова застревают в горле, перо в руке становится недвижимым, потому что описать все это невозможно. Горы вдали словно призрачные и покрыты легкой дымкой, небо яснее и глубже, чем всегда, почти такое же, как на юге. Деревья, словно изваяния, стоят недвижимо. На каштанах и на липах можно разглядеть каждый листик, а все ветки на огромных кедрах сверху донизу усыпаны розовыми шишечками, словно бы кто-то решил убрать деревья бумажными цветами. И в самый разгар осеннего лета невольно вспоминаешь о рождестве, о морозах, обо всем что так скоро наступит.

Наступит, но кто знает, для кого из нас?

Диего велел вынести из дому обеденный стол и накрыть его к завтраку под высоким кедром. Белое полотно скатерти на солнце и в тени под сенью больших темных деревьев гляделось как на картинах импрессионистов. Округлые желтые солнечные пятна передвигались по скатерти, поблескивали на серебряных приборах. Марре с самого утра улыбается миру, глядит вокруг — на деревья в парке, на поблескивающее озеро — с таким вниманием и радостью, словно бы наблюдает за ходом удачно поставленного химического опыта.

Опять Диего был в своей ярко-красной, цвета мака, рубашке со шнуровкой. И как-то не верилось, что находишься в таком раю, в таких вот искусственных условиях, которые куда больше подходят для заморских птиц, каких-нибудь павлинов или фазанов, чем для человека, который только все портит своим присутствием.

— Мы живем в нечеловеческих условиях, — сказал я Шуару.

— Что вы имеете в виду? — забеспокоился Диего. — Вас что-то не устраивает?

— Напротив, — сказал я. — Мне кажется, что для людей моего круга эти условия показались бы просто невероятными. Все это слишком хорошо для того, чтобы сойти за правду.

— Вы шутите, наверно, — сказал Марре. — Только так и должны жить люди. Все без исключения.

— Увы, — вздохнул я, — это утопия, дорогой профессор. И больше того, я думаю, что счастливые люди вообще так не живут. Такая жизнь — оправа для людей несчастных.

— Вы считаете себя несчастным?

— Нет. Но для меня это не просто оправа. Вот все это. — И я показал рукой вокруг.

И вот тогда, дорогая, тогда я снова подумал о Вас. Счастливы ли Вы у себя в больнице? Разумеется, мой вопрос лишен смысла. Спокойно ли у Вас на душе? Не озаряется ли иногда поверхность Вашей жизни заревом далекого бунта, огнем зловещих воспоминаний обо всем том трудном, далеком, недобром, что Вам пришлось испытать? Не тревожит ли оно Вас по ночам?

Меня преследуют по ночам вовсе не воспоминания о войнах, убийствах, пролитой крови, не зрелища тюрем и лагерей, а чаще всего, даже и тут, на берегу этого озера, — воспоминания о минутах безмятежных и ясных. В последний месяц перед своей женитьбой я стал частым гостем в Вашем доме. Я приходил по утрам, мы вместе пили чай, подолгу говорили о книгах и ни слова не говорили о людях.

Я знал, что Вам очень бы хотелось начать со мной разговор о своем отце, о муже, о Кароле, о Витеке. Но Вы не решались его начать, боялись притронуться к тому, что так сильно болит, нарушить уют наших утренних чаепитий, таких вот, как этот завтрак на берегу озера, устроенный Диего, не хотели, чтобы между нами встал со всей своей откровенной жестокостью еще кто-то, еще какой-то человек. И Вы не расспрашивали меня ни о чем — ни о войне, ни о тюрьмах, ни о моей будущей жене. Сказали только, что как-то видели ее в театре, что она очень красива. А я думал о счастье. Да, о счастье. Я думал о нем много раз, но я хорошо знаю, что счастье — это утопия. Что такое утопия? Утопия — это желание вывернуться, уйти от ответственности, это стремление свести всех людей к единому уровню, не считаясь с тем своеобразным, что заложено в каждом человеке, является его единственным и только ему принадлежащим наследством. Утопия — это нежелание считаться с историей, а поэтому прошлое оборачивается против нас. Мы всегда живем прошлым, и каждый из нас толкует его по-своему. Как может думать о счастье человек, принадлежащий народу, извечным мифом которого было восстание? Не миф о вечном счастье или о всеобщей забастовке (как у Сореля), а миф о восстании. Мы все живем только ради того, чтобы когда-нибудь наконец состоялся этот торжественный обряд — жертвоприношение на алтарь отчизны тысяч юношей и девушек, как это было когда-то в каких-то далеких государствах, имевших совсем иные мифы.

И поэтому между мной и профессором никогда не будет настоящего взаимопонимания, да что говорить о профессоре, даже Диего никогда не поймет нас, ведь он, хотя и принадлежит к другой расе, давно усвоил эталон средневропейского счастья. Не знаю, поймете ли Вы, что я хочу сказать.

Мир ужасен. Во-первых, потому, что существует смерть и все мы обречены. И даже когда я нахожусь здесь, на берегу этого волшебного озера, за этим словно бы сошедшим с полотна импрессионистов столом, я понимаю, что меня окружают смертники, что сам я тоже приговорен, что ангел смерти, пусть он будет даже столь прекрасен, как Диего, вот-вот постучит ко мне в дверь или тяжелой косою своей ударит по этому чудному дереву, под сенью которого я сейчас блаженствую. А во-вторых, потому, что человек по природе своей жесток и любит напоминать себе и ближним своим об этом приговоре, всячески оттягивая в то же время час его исполнения.

Иногда случается, что по неизвестным причинам он перестает оттягивать час казни. И как же тогда наслаждается он страхом, который написан на лице другого человека, ведь человек, ко всему прочему, еще и трус, — твердо зная, что уйти от приговора нельзя, он все равно не в силах преодолеть страха.

А теперь я хочу исповедаться перед Вами до конца, я хочу сказать Вам все, до последнего слова. Я видел, как приводился в исполнение приговор, который был вынесен Витеку нашей подпольной организацией. Я не был в числе исполнителей его, этого от меня не требовали, хотя никто не знал, что связывает меня с этим человеком, но я видел все. Самое неприятное, что в него нельзя было стрелять. Его удушили шелковым галстуком, одним из тех многочисленных галстуков, которые он хранил в ящиках письменного стола и в шкафу.

Я уже говорил Вам, что он любил показывать эти галстуки, и, наверно, не только мне, потому что за эти галстуки его возненавидели, и когда был вынесен приговор, а по разным причинам стрелять было нельзя (в соседней комнате жили немцы), решено было его удушить.

Какими же силачами были те двое ребят! Они сорвали с себя ру-

башки, это было летом, и я видел, как они засунули ему в рот кляп, чтобы не было слышно крика. А он и не кричал, а только чуть слышно хрипел и посапывал, словно боров, которому перед тем, как его зарезать, обвязали тряпкой рыло. Мясники так тоже иногда делают.

Я глядел на него, и мне вспомнилось все — и как он ел арбуз ложкой в точно такую же летнюю ночь, и что он сказал, когда мы хотели заставить его на Вас жениться, и то, как вдруг Кароль поцеловал его между лопатками, — и в эту минуту я ненавидел его с такой силой, что не чувствовал к нему ни малейшей жалости.

Только иногда вот в такую чудную погоду, как сегодня, тут, на этом берегу, мне вдруг слышится то ли хрип, то ли всхрапывание, неслышное захлебывание, агония этой ненавистной мне жизни.

Разумеется, с Марре Шуаром мы об этом не беседовали. Мы говорили о погоде, о красоте гор, о том, как трудно приходится испанской эмиграции, и ни слова не было сказано ни о нас, ни о войне, ни о будущем, ни о других страшных, очень страшных вещах.

Вот так, пани Агата, все неприятные темы тщательно обходились. Совсем как тогда, во время наших утренних чаепитий. Мы были с Вами очень осторожны. Избегали всего, что могло бы помешать нам спокойно глядеть на мир в ту безоблачную минуту. Ведь у нас много было и совсем иных, непохожих на ту минут. Один раз, правда, я хотел было рассказать Вам о той грозовой ночи, когда Витек ел арбуз ложкой, а Кароль поцеловал его меж лопаток, но Вы тотчас перебили меня вопросом о последнем номере «Ведомостей литератских». Мы торопливо стали обсуждать то, что там было напечатано. Кажется, речь шла об одном из репортажей Тоня Собаньского.

Примерно в таком духе была и наша беседа с Марре Шуаром в то осенне-летнее утро у озера. Мы всячески избегали разговоров о том, что могло занимать нас на самом деле.

Впрочем, он не в состоянии понять ни того, что у нас было, ни того, что есть сейчас. Например, того, что Гашинский или, скажем, Годабский писали стихи и участвовали в сражениях — один под Рашином, другой — под Остроленкой. Точно так же он не может понять того, что я сидел в тюрьмах, любил, воевал, как умел, а между делом еще и издавал стихи, те самые, которые всем известны, но как и когда я умудрился их написать, даже мне самому неясно. Еще он не может понять, почему теперь, на старости лет, все свои путешествия, тюрьмы, войны, все восстания я вспоминаю куда охотнее, чем неудавшиеся романы. В самом деле, каким образом (боже, смилуйся надо мной!), каким образом мне удалось хоть как-то сочетать свою солдатскую службу с литературной деятельностью? Я и сам не понимаю этого, как же я мог бы объяснить это ему?

Когда речь заходит о моих стихах, я всегда испытываю какую-то неловкость. Помните, как я читал Вам чьи-то стихи и даже не решился намекнуть, что я тоже пишу? Теперь я жалею об этом. Ведь Вы бы, конечно, все поняли. Вы бы поняли меня, теперь это мне так ясно.

Наверно, Вы догадывались обо всем, но это совсем другое. И, может быть, если бы я прочел Вам свои стихи, мне было бы легче. Я чувствовал бы себя увереннее. Моя жена вообще не читала стихов — никаких, ни моих, ни чужих. А мне сейчас даже тяжело думать обо всем этом, не то что говорить. Тем паче с профессором, с ученым, с чужим для меня человеком, уже «закончившим свое плаванье». Для разговоров с ним я выбираю другие темы.

И по ночам, когда мне не спится, память моя никогда не возвращается к таким вот блаженным часам, как нынешнее утро, как этот завтрак в парке, в обществе Марре и Диего. В таком вот «завтраке на траве» есть что-то нечеловеческое, говорю я себе, говорю чаще

всего в те минуты, когда сон медленно окутывает меня своей ватой. Ведь куда более по-человечески грызть сухари, давить вшей, биться головой о стену, в кровь разбивая лоб. Так мне казалось прежде. И еще — человеку свойственно убивать других людей.

Но сейчас я думаю также, что человеку свойственно принимать время таким, как оно есть, пусть себе идет, пусть летит, как говорят у нас в Варшаве. Я написал это глупое «пусть летит» и вдруг ощутил какую-то прямо физическую тоску — по нашему воздуху, по нашим пейзажам, по нашей судьбе, которую нельзя заменить никакими другими судьбами и которую ни один самый мудрый мудрец никогда не сможет понять.

Это блаженство, эта райская красота и этот изысканный комфорт обернулись вдруг против меня, они мне спать не дают по ночам. Нелегкая судьба моя никогда не преследовала меня во сне, и в этом моя победа над временем, во всяком случае над моим.

Подобно тем вырождающимся обитателям моря, которые могут жить только в пене разбушевавшейся волны, я могу жить лишь там, где все вокруг рушится, — рушится, как те дома, о которых я Вам уже писал. Эти полубвалившиеся дома снятся мне по ночам — мрачные, полутемные, со своей таинственной и такой недоброй жизнью. Старость — очень скверная вещь. Если бы Вы знали, как тяжело старику по утрам вставать, одеваться, а вечером раздеваться, как тяжело ему укладываться в постель, с какой опаской поглядывает он даже на самую мягкую удобную подушку. Но старость должна быть покоем, отрешенностью, памятью о всех тех, кто навсегда остался молодым. Мне ни разу не довелось встретить никого из тех мальчиков, что были чуть моложе меня, учеников одной из тех многочисленных школ, в которых мне довелось учиться. Я и сейчас отлично их помню. И для меня они остались такими же, какими были тогда. Мне так не хочется думать, что они постарели, что тела их, точно так же как и мое тело, утратили свою упругость, улыбка не озаряет лица, глаза потеряли свой блеск. Я не верю, что они больше не существуют, и всегда вижу их такими, какими они были когда-то, какими навеки остались в моей памяти. Как хорошо, что мне ни разу не довелось их больше встретить, что я не видел их расплывшихся лиц, потухших глаз, черных беззубых ртов, открытых в улыбке. И все, что как будто бы уже исчезло, на самом деле существует, осталось во мне, и ночью я могу прислониться к прошлому, как к стволу дерева, и слушать давно умолкшую музыку.

Я помню, как когда-то Кароль играл Меланхолическую серенаду Чайковского и все слушали его в молчаливой сосредоточенности. Он играл на скрипке, Вы аккомпанировали, а за окном шумело какое-то дерево, но какое именно, я никак не могу вспомнить. И это ужасно меня мучает. Иногда в памяти всплывают такие ничтожные подробности, как меню обедов, состав гостей, приглашенных к чаю, масть коней в упряжке, а вот что же это было за дерево, на которое мы с Вами каждый день глядели, ума не приложу. Но стоит мне закрыть глаза, и я вижу его — большое, раскидистое, оно шелестит тихонько, и в шелесте листьев мне чудится повесть о нашей жизни, незадавшейся, несовершенной, — жизни, в которой ничего уже не исправить и которую мы должны принять такой, как она есть, потому что ничего в ней уже не изменишь: ни один из ее элементов не станет ни прозрачным, ни твердым, похожим на кристалл.

Да. Кароль играл, а все мы слушали его в вечерних сумерках, и каждый думал о том, что его ждет, как все устроится и чем будет озарено. И вдруг Витек заговорил, сразу нарушив общее настроение, и это было так неожиданно, так грубо, что Вы вздрогнули и сбились.

— Любопытно было бы увидеть,— сказал Витек,— кто будет сидеть здесь через пятьдесят лет?

Прошло пятьдесят лет, и вот никого не осталось, никого, кроме меня и Вас. И поэтому мне пришла вдруг мысль послать Вам такое письмо издалека, из этой озерной дали, из этой осени летней, с этого зеленого луга, из-под этих монументальных кедров.

Хозяин дома улыбается мне своей доброй улыбкой. Он — мудрец. И последний итог его мудрости заключается в том, что он потерял представление о человеческой жестокости. Он не только сам не умеет быть жестоким, он не верит в то, что люди вообще могут быть жестокими. Передоверив другим выводы из своих гениальных открытий, он точно так же передал молодым и всю свою жестокость, которой он, будучи ученым и бескомпромиссным экспериментатором, несомненно обладал. И мне кажется даже, будто жестокость свою он перевалил на плечи Диего. В красной рубашке Диего, в его шее, в его загривке, какой обычно бывает у убийц, а вернее, у палачей, сосредоточено все то, что составляет его силу, его сущность, главные его достоинства. Я ничуть не удивился бы, если бы сегодня или завтра его арестовали за преднамеренное убийство или если бы он вдруг ушел в монастырь.

Я отлично представляю его преступником, совершившим преднамеренное убийство, только неизвестно, кто был бы подлинным убийцей: он или Шуар. Вы, наверно, слышали об убийствах *per procu* ¹. О таких, в каком повинен Иван Карамазов, который, можно сказать, толкнул Смердякова на убийство. Но, интересно, не он ли наставил Алешу на путь святости?

А Марре Шуар — улыбающийся, наивный старичок, который не догадывается о таких вещах. Он занят своим парком и садом. Только вот почти половину парка у него отняли. Вдоль озера сейчас прокладывают шоссе. Если б Вы только знали, какое это ужасное зрелище, когда валят деревья. Марре относится к этому очень спокойно, он чувствует, что жить ему осталось недолго, а то, что после его смерти парк достанется горожанам поредевшим и урезанным, его мало волнует. А может быть, он столь хорошо воспитан, что, оставаясь верным своим принципам, спокойно принимает и этот удар судьбы и не снисходит до того, чтобы страдать из-за смерти деревьев. Мне же это кажется ужасным, и когда полуголые испанцы пневматическими пилами валят дерево за деревом, я стараюсь не глядеть в их сторону. Валят даже огромные кедры, которые при наличии доброй воли можно было бы легко сохранить, устроив посредине пути маленький оазис. А испанцам эта расправа с деревьями доставляет какое-то особое, я бы даже сказал почти физическое, наслаждение. И Диего тоже упивается этим зрелищем, а профессор с нежностью поглядывает на Диего, любуясь его массивным загривком и кудрявыми волосами. С особой нежностью смотрит он на Диего в те минуты, когда тот с жестокой улыбочкой следит за падением какого-нибудь могучего дерева.

А в общем профессор всегда очень мягок, уравновешен и ко всему относится с философским спокойствием. Как и полагается великому Шуару. Не рассказать ли ему о смерти нашего Витека?

Если говорить честно, дорогая пани Агата, профессор немного меня раздражает. Несмотря на старость, несмотря на то, что нынешний день, до которого ему удалось дожить, поставил перед ним проблемы, которые не существовали в дни его молодости, он по-прежнему все еще озабочен шлифовкой своего мировоззрения.

Музыку, литературу, живопись Шуар по-прежнему презирает.

¹ По поручению (лат.).

И не без оснований, ведь они не могут изменить мир. А мне жаль их. Ведь они могут мир убаюкать. Для меня мир всегда засыпает под заключительные такты «Валькирии». Огонь и дым и далекое звучание скрипок как голос самой судьбы, погружение в сон Брунгильды, засыпающей точно так же, как все мы уснем когда-то. Марре Шуар верит в науку, которая завела нас так далеко. Он верит и, может быть, даже велел и своему Диего верить в то, что наука спасет мир. Поможет людям очистить воды, воскресить отравленную рыбу, оживить убитых зверей, возродит заново плоды, поможет людям любить друг друга. Конец мира представляется ему чем-то вроде большой фарондолы в тональности C-dur, блестящим завершением неверно взятого аккорда, полной и окончательной гармонией, перечеркивающей смерть.

Но он забывает об одном — о том, что смерть зачеркнуть нельзя. Что это единственная реальность, которой человек обладает, единственная принадлежащая ему ценность. А избавлять мир и человека не нужно, смерть и так всех от всего избавит.

Ведь когда мы перестанем существовать, нам будут безразличны войны, голод, несчастья и катастрофы; атомные бомбы раскидают наши могилы, но нам это будет безразлично. Мы будем тихо спать в покое и в мире, вернувшись снова туда, откуда пришли, — в небытие.

Марре Шуар старается меня утешить. Он говорит, что жизнь наша не была прожита даром. *Gratuites*¹. Она не была бесплодной, но каковы плоды этой жизни — об этом он умалчивает.

Он приводит мне — жаль, что по-французски, — слова святой Терезы из Авилы:

Que rien ne te trouble
Que rien ne t'épouvante
Tout passe
Dieu ne change pas.

«Пусть ничто тебя не печалит, пусть ничто не тревожит, все проходит, не меняется только Бог...»

И хотя полет этих медленно возносящихся в небо теней с лирами в руках должен был бы внести в мою душу успокоение, и хотя я знаю, что скоро, очень скоро и я тоже уйду вслед за ними, как уже ушли все мои близкие, как улетел Кароль и все трое моих Ежи, как вознеслась в небо добрая дюжина моих Стасей, как ушли все те, кого я любил земной любовью, и те, кого я любил любовью небесной, как я любил Вас, пани Агата, все же эта картина ничуть не утешает меня. Избавление дает лишь сон, который уже окутывает меня своим туманным плащом.

Подумать только — столько было восторгов, столько страданий, столько смелых замыслов и мудрых слов, и все же эта утренняя звезда над моей головой навсегда останется для меня чем-то непостижимым.

Они уже стали ничем, отблеском света, сном, в то время как мне кажется, что я еще «живу», «чувствую», «творю». И не знаю, кто примет меня в свое лоно — небытие, материя или Бог?

Бог — это то, из чего возник, родился этот страшный мир. Страшный своей полной непонятностью, этим $\sqrt{-1}$, который всегда был для меня символом существования. То самое, из чего возникло извечно непостижимое, остается неизменным, это — вселенная, материя, Бог, мы.

¹ Даром (франц.).

И вот что самое важное:

Que rien ne t'épouvante
Tout passe
Rien ne change...

Ведь вовсе не в утешениях Марре Шуара, на которые он не скупится, и не в улыбках Диего, обещающих райское счастье, но в ясном понимании того, что все мы будем спать в неизменном небытии, я вижу прообраз безмятежной просветленности — *Sérénité*.

Из года в год, с каждым новым произведением ширится круг героев Ярослава Ивашкевича. Есть среди них особенно близкие ему, возвращающиеся в его творчестве образы-символы. Так, не единожды встречаемся мы с профессором Шуаром, подвижником науки, не подвластным времени. Вечно молодым предстает перед нами в разных ипостасях и композитор Кароль Шимановский, беспощадный к себе искатель новых путей в искусстве, о котором Ивашкевич писал впервые еще в 1920 году. И не случайно они, олицетворяющие дерзание в разных областях познания мира, возникают в неожиданных ракурсах рядом с лирическим героем рассказа «*Sérénité*». На их фоне рельефнее выделяется фигура пожилого литератора, поверженного внезапным приступом недуга и как бы теряющего контакт с внешним миром. Фигура драматическая, сложная. Как пришла она на страницы рассказа?

Стоит ли теряться в догадках, если мы имеем возможность получить разъяснения от самого автора. Действенный гуманизм и демократизм Ивашкевича проявляется не только в его творениях, но и в его стремлении сократить расстояние между художником и читателем, удовлетворить интерес читателя к производственным тайнам литературы, к тому, «как это делается». Писатель охотно прибегает к газетной трибуне, особенно удобной для прямого общения с огромной аудиторией. Его беседы о книгах в «Жице Варшавы» исполнены горячей заботы о том, чтобы приблизить к читателю «тот сложный процесс, который происходит в душе творящего».

Разумеется, душа художника вмещает не только чисто технологические процессы: отбор материала, целенаправленное накопление впечатлений, из которых рождается замысел. И Ярослав Ивашкевич прекрасно показал это еще в лирическом отступлении на страницах «Книги о Сицилии».

«...Говорят, например, о долге писателя... Говорят о верности себе — и о писательской измене. И о том, что писатель должен выразить свое время и свой народ, — и вдруг пробуждают у меня угрызения совести. И я тревожусь, выражают ли мои «Панны из Вилька», над которыми я корпел все те дни в Сиракузах, пока дожидался парохода из Туниса, — мое время. Не знаю. Они попросту выражают меня...»

Герой рассказа «*Sérénité*» — пожилой литератор — не испытывает подобных душевных борений. Автор, тонкий психолог, ставит здесь перед собой задачу повышенной трудности — показать художника в минуту творческого затишья, обезоруженного недугом.

«Удел нам столь знакомый, столь мучительно переживаемый и неотвратимый — удел старения, — замечает Ивашкевич как бы на полях трогательной переписки двух престарелых корифеев литературы прошлого века. — Стареет сам писатель, стареют его приемы, приходит неизбежное, непонятное новому поколению обособление в своей среде и неизбежное одиночество...»

Впрочем, рассказывать о писателе вымышленном не менее сложно, чем создавать биографию реально существовавшего.

«...Написание биографии всегда является выбором «правд», — рассуждает Ивашкевич в другом эссе, — а как же тут выбирать, если правда о писателе утром — одна, а вечером — другая».

Автор рассказывает жестокую правду о писателе. Правду того момента, когда перо выпадает из ослабевших рук и всегдашний противник — человеческая жестокость, порождаемая войной, мнится уже небывало всеобъемлющей и неодолимой. Но ведь это лишь одна из многих правд. Вечерняя правда... Размеренный скрип уключин упрямо твердит о движении вперед, и молодой силач-перевозчик так не похож на Харона. И мы предчувствуем, что завтра лодка, везущая героя рассказа, причалит к желанному, исцеляющему берегу утренней правды, исполненной жизнеутверждения.

...Лодка плывет, а за бортом ее возникают континенты воспоминаний, то туманные, то обретающие реальные черты. И мы узнаем милую сердцу автора Украину, откуда он уже не раз отправлялся в дальние плавания и на Сицилию, и к берегам страны папуасов...

О связях Ярослава Ивашкевича с Украиной написано очень много. Но лучше всех пишет об этом он сам. Украинская земля дорога ему не только тем, что он там родился, рос, учился, дебютировал как поэт. С нею у него связаны также волнующие мысли об узах великой гуманистической культуры, роднящей народы.

«Счастливый Бердичев, литературный город, где венчался Бальзак и родился Жозеф Конрад!» — восклицает он, размышляя над книгой «Вечерние беседы» Максима Рыльского. И тут же выписывает наиболее созвучные ему высказывания своего украинского друга:

«...Рыльский пишет, что... это связано более прочными нитями, чем кому-либо кажется. Когда я думаю о величии Пушкина, Шевченко, Мицкевича, Байрона. Гейне, Виктора Гюго, Петефи, когда устремляю свой взор еще дальше в глубь веков и встают передо мной живые — да, живые! — фигуры Гёте, Шекспира, Данте, древнегреческих трагиков, я испытываю гордость, что я являюсь человеком, что хожу по той же самой земле, по которой ходили эти великие, создавая для нас бесчисленные богатства нашей культуры. Именно так: нашей культуры». Ибо без этих великих «нельзя осознать нашей духовной жизни, нельзя понять ни нашего сегодня, ни нашего завтра, ибо без них не было бы ни Леси Украинки, ни Ивана Франко, ни Коцюбинского, ни Блока, ни Маяковского, ни Стефана Цвейга, ни Гийома Аполлинера, ни Жозефа Конрада... Развитие мировой культуры, и не только литературы,— это прочная, непрерывная цепь, из которой нельзя удалить без ущерба ни одного звена».

В этой цепи мы видим имя замечательного польского писателя, лауреата международной Ленинской премии мира — Ярослава Ивашкевича.

М. ИГНАТОВ

